

Три поэмы Юрия Кузнецова под общим названием «Путь Христа» при их первой публикации вызвали шквал нареканий со стороны тех, кто счёл себя призванным к борьбе за чистоту евангельского слова в нашей литературе. Было много и восхищённых отзывов, и дельных разборов «Детства», «Юности», «Зрелости», однако глухая вражда по отношению к этим творениям мастера не утихла до сих пор, спустя десяток лет после их появления в печати. Эти критические упрёки по большей части носят идеологический характер. Собственно литературные претензии к поэмам были, скорее, вздорными и почти всегда свидетельствовали лишь об уровне поэтического таланта непререкаемых судей. Само художественное слово Кузнецова при цитировании защищало себя, тогда как суетные попытки уличить поэта в написании «плохих», «искусственных» стихов попросту рассыпались при соприкосновении с высокой фактурой кузнецовского текста. Ущербность этих вторых обвинений во многом самоочевидна, тогда как первая линия критики трёх евангельских поэм до сих пор весьма сильна. И потому стоит взглянуть на неё более пристально.

Очень часто позднее творчество Кузнецова представляется как возмутительное соединение его прежнего, изначально языческого миропонимания и неглубокого, катехизаторского христианства, которым поэт «заинтересовался» на склоне лет. Утверж-

дением этой критической позиции дружно занимаются новоначальные христиане с литературным образованием и клирики-трибуны, совершенно лишённые художественного чутья и вкуса. Хорошо бы таким литераторам-фарисеям обратить свой взыскательный взор на собственные деяния, никак не сочетающиеся с евангельской правдой в жизни, а церковным книжникам – вслушаться в звуки народной духовной поэзии и быть ближе к душе русского человека.

Стоит напомнить, что в храм приходит грешник, на лице и в повадках которого видны черты его родовой принадлежности, будь то татарин, осетин, еврей или русский. Свойства его национального характера не отменяются принятием православной веры; также и культура народа, к которому он принадлежит, не изымается из его сознания и сердца, но во многом очищается и приводится в соответствие со светом христианской истины. Эта родовая печать не отменяется ни в Грузии, ни в России, ни в Японии, где великий православный миссионер святитель Николай (Касаткин) с огромным уважением относился к традициям местной культуры. Более того, с началом русско-японской войны он известил свою паству, что теперь они будут молиться порознь, каждый о победе *своего* оружия, поскольку христианин должен быть ещё и сыном собственной родины. Православный эфиоп не должен отрекаться от культуры Африки, несомненно, отринув

все её колдовские культы. При этом сказки, которые он станет рассказывать детям и внукам, будут с отчётливим местным колоритом.

Вместе с тем вся дохристианская Русь негласно полагается некоей страной-полуфабрикатом, так же как и древние славяне, её населяющие, ибо только потом, с Крещения как будто началась подлинная русская история. Эта резекция русского народного сознания, исторической и нравственной правды делает русского православного христианина совершенно незащитным перед многими церковными нестроениями. Ужасны признания бежавшего из церкви прихожанина, который столкнулся с чёрствостью настоятеля, со своекорыстием приходского старосты, с бюрократической ротацией клира. Этот человек поистине одинок, у него нет ничего, что составляло бы его родовую историю, некую базу, от которой стоит сделать мировоззренческий и духовный шаг ко Христу. Даже разбойник, раскаявшийся и ушедший в монашество, со слезами вспомнит волшебную сказку и народную песню, которую в полузабытом детстве он слышал от матери своей. Родовой русский человек с православной душой, столкнувшись с церковными испытаниями в одном месте, уйдёт от искушения злобой и безумием критиканства, исповедуется и примет причастие из рук другого пастыря – доброго, искреннего, не затронутого стяжательством.

Разумеется, линия соединения православного и древнего, народного взгляда на мир не может быть прочерчена раз и навсегда, обозначив границы сочетания первого со вторым отчётливо и непререкаемо. Когда речь идёт о христианском каноне, ни в коем случае нельзя поступаться его строгостью. Но если мы говорим о живом Христе, образ которого до сих пор живёт в русских духовных стихах, во внимание должна принимать-

ся вся совокупность слов и мнений, пронизанных любовью к Спасителю и чувством собственного, сокровенного сораспятия с Ним. Наша Церковь, будучи водителем русского человека ко Христу, должна любить свое чадо. Но иной раз она берёт на себя роль сухого и безжалостного учителя, бьющего ученика линейкой по рукам и категорически не желающего познакомиться с его семьёй.

Юрий Кузнецов стремился соединить народное представление о Христе с Преданием. Ещё раз отметим, что его триптих – это литературное произведение, а не рассуждение на каноническую тему. Как и в народной поэзии, в кузнецовской «словесной иконе» мы найдём мимику Христа, Его боль, гнев, печаль и юмор. В четырёх Евангелиях подобные приметы жизни Сына Человеческого едва обозначены. И потому поэтический текст так насыщен психологическим осмыслением текста евангельского.

Как правило, мистические произведения в поэзии склоняются к картинам отчётливо прорисованным. Такая определённая в описании мира исподволь выдаёт склонность автора к дидактике. У Кузнецова читатель регулярно сталкивается с бытийной мистикой происходящего, когда наглядный сюжетный поворот вызывает смутный, тревожный, а подчас и грозный отголосок в природе и времени.

Подобно евангельским повествованиям, «Путь Христа» Кузнецова пронизан совпадениями действий, предметов и слов. Так, «пощёчина Христу» трижды возникает на страницах поэмы, причём не только как свидетельство злобы мира, но и как абрис его житейской ограниченности. Всё земное обижает и бьёт Спасителя, и в том – едва заметные знаки Его грядущей смертной муки. Но иной читатель раздражённо скажет: Магдалина не по праву заносит руку на Христа, тут – кощунство и недопу-

стимый творческий прозвол автора. Хотя – имеющий глаза да увидит... Иосиф с семьёй бежит, захватив с собой «лесину», из которой намеревался сделать гроб умершему старейшине Назарета, но вскоре рубит из неё «колыбель для дитяти». Вот маленький образ уходящего ветхого мира, нарождающегося мира новозаветного и их соединительного звена.

Кузнецов населяет поэму дополнительными персонажами, вводит новые события – и это не только приближает фигуру Христа к простым людям, но и человечески отепляет многие Его суровые смыслы. Причём эти авторские лица и происшествия исключительно органичны как фигуры в *реалистическом* развитии новозаветного сюжета. Таков бедун у костра, дымом которого играет маленький Иисус; упавший с крыши и разбившийся мальчик, которого Он воскресил, будучи ребёнком, задолго до первого публичного чуда на свадьбе в Кане Галилейской.

По словарю и интонации поэма сближается с народными духовными стихами. В её тексте много ласкательных слов, анафорических приёмов и иных примет народной лирической поэзии. Пожалуй, это видимое соприкосновение с фольклором в эпической поэме очень часто действует на антагонистов Кузнецова, как красная ткань на быка. Русификация интонации кажется им возмутительной, она будто бы умаляет надмирный пафос священного сюжета. Так католики в Японии, обратив местных жителей в свою веру, дали им иконы, на которых лица святых были изображены с раскосыми глазами – дабы абориге-

ны воспринимали угодников Божиих более прочувствованно. Но у Кузнецова – не «умозрение в красках», а «словесная икона». Причём – авторская, «моя». Не изменён антураж, идентичны лица, адекватны смыслы – лишь голос рассказчика резко индивидуален. И такая икона, словно вытолкнутая на поверхность жизни из трехвековой толщи русской литературы через слова, голос, ум и сердце Юрия Кузнецова, достойна понимания, уважения и любви со стороны соотечественников.

В предсмертном кузнецовском стихотворении «Поэт и монах» можно увидеть знаки положительного отношения поэта к живописи Рафаэля и Микеланджело. Но если для художников Возрождения было важно выявить чисто человеческую личность и показать, что все глубины библейских сюжетов вполне доступны всякому человеку (об этом замечательно написал А.Ф. Лосев*), то Кузнецов поставил перед собой совсем иную задачу.

Мистика его поэмы не нуждается в доказательствах и не сводится к набору простых тезисов и приёмов, подстать руководству для начинающего фокусника. Сохраняя священную Тайну, он старался приблизить её к русскому человеку. Бережно относясь к его духовному и культурному прошлому, он хотел показать дорогу, уходящую за горизонт и никогда не кончающуюся.

И всё это – вымолвить на родном языке как наследник древней русской песни и подлинный литературный гений сумрачного рубежа двух христианских тысячелетий.

* Лосев А.Ф. *Эстетика Возрождения*. – М.: Мысль, 1978. С. 388.